



Владимир  
Аристов

MATER  
STUDIORUM

Владимир Аристов

**Mater Studiorum**

«НЛО»

2019

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

**Аристов В. В.**

Mater Studiorum / В. В. Аристов — «НЛО», 2019

В прозе В. Аристова за поверхностным слоем обыденности обнаруживаются иные, скрытые формы существования. По-своему преломляя традицию немецкого интеллектуального романа, идущую от Гете и йенских романтиков, автор создает своего рода «роман воспитания», синтезирующий великие мифы романтизма и модернизма с нелинейностью современной картины мира. Главный герой, философ и профессор Высших женских курсов, подобно другим странствующим персонажам, отправляется на поиски нового интегрального знания, способного преобразить мир. Он убежден, что именно «женственность» способна помочь преодолеть глубочайший кризис, в который повергла мир «эпоха мужской культуры». Становлению героя, происходящему в параллельных пространствах, то ли воображаемых, то ли подлинных, сопутствует неперемное в этом случае воплощение «вечной женственности» – персонаж, ведущий героя по лестнице инициации. За внешним сюжетом открываются все более и более глубинные слои взаимодействия «я» и мироздания. Владимир Аристов – поэт, прозаик, эссеист, доктор физико-математических наук. Лауреат премии Андрея Белого.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Аристов В. В., 2019  
© НЛО, 2019

# Содержание

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| I |                                   | 6  |
|   | 1                                 | 6  |
|   | 2                                 | 12 |
|   | 3                                 | 16 |
|   | 4                                 | 21 |
|   | 5                                 | 23 |
|   | 6                                 | 26 |
|   | Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

# Владимир Аристов

## Mater Studiorum

© В. Аристов, 2019,

© М. Кузичева, рисунок на обложке, 2019,

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

\* \* \*

*Repetitio est mater studiorum.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Повторение – мать учения

# I

## 1

Лишь только приближался сентябрь, он опять начинал чувствовать тревогу и печаль, и даже тоску. Опять те же несбыточные сны приходили, все те же неизбываемые, незабываемые сны. И упрек, что он не все сделал, что мог. Вернее, то, что он должен был совершить и не совершил. Он опять представлял 1-е сентября – все ту же умножаемую свою с каждым годом жажду и зависть, которую он испытывал на опустевших утренних улицах, когда молодые люди все уже скрылись за стенами школ, за дверями школы или института. Только он один будет вне. «Что тебе надо еще? – спрашивал он сам себя, – какого еще образования? У тебя же оно есть, уже есть одно». Однако не мог отбросить свое чувство осенней вины. Хотя раньше чувствовал всегда радость избавления от повинностей экзаменов, от постоянной угрозы решающего выбора. Но все переменялось в последние годы. Он увидел себя со стороны. Однажды увидел себя в зеркале, когда он не знал, что за ним наблюдают. И нелегко ему было теперь оставаться прежним.

Сны эти были об одном и том же: словно он в конце семестра видит, как много несданных, незачтенных предметов, дисциплин у него, но с легкомыслием продолжает не столько учиться, сколько проматывать время. Надвигается неизбежная развязка, но тут он выскальзывает в явь. Однако чувство какой-то неизбытой, незачтенной вины не уходило. Сон намекал ему на что-то важное, что он должен был еще совершить. И это важное можно было найти только там, откуда он давно уже ушел: из школы, из университета, которые он закончил уже столько лет назад. Но никакие ученые степени – их у него было уже две – не меняли его состояния вины и тихого, но властного указания.

Сам он хотел учиться, захотел, просто возжаждал, почувствовал прежний голод. Но ему хотелось не просто повысить или «возвысить» знание, но начинать, начать словно бы заново. Был он готов к этому – обновлением и молодостью веяло из школ. Но переступить порог университета или школы в качестве преподающего страшился. Представить себя в роли учителя, преподавателя не мог. Потому что начавший учить, – так он думал, – преподавать то, что преподавали ему самому, начинает умирать. Ведь тем самым он показывает, что уже выполнил свою миссию здесь – вот он наполнился знаниями, а теперь просто их проливает, передавая следующему безымянному ученику. Поэтому с таким ужасом он услышал предложение своего друга – как раз в конце августа прошлого года, – настоятельную просьбу того начать преподавать в новом университете. Вернее, сам гуманитарный университет был не такой уж новый, но там должны были возобновиться, в который уж раз, Высшие женские курсы, и именно туда, полагал друг, лежит его дорога учительская. «Новое сейчас именно женское, не понимает это лишь осел», – говорил его друг, тайное имя которого было, впрочем, как раз Ослик (или Ойслик для совсем уж узкого круга друзей). Не потому что он был глуп, а как раз из-за своей склонности к неподвижным и долгим размышлениям. Он сказал Ослику, что пока не готов. Что ему надо обдумать все и подготовиться. Но причина истинная была в другом: он понял, что не может идти преподавать, не учась сам. Потому что, не начав заново каждодневно наполняться, он будет лишь иссякать. Не видел он выхода из такого безвыходного положения, пока среди года не осознал, что может разрешить такую антиномию, или дихотомию единственным образом: стать и учеником, и учителем одновременно. Тогда он сможет вернуться в молодость и вернуть себе молодость обновлением знания. И удержать их в равновесии на своих же руках. Тогда его присутствие в создающемся университете будет оправданно.

Так – он себя увидел сейчас в зеркале, где царила темная померкшая роза – оставшаяся со дня его рождения – значит, розы рождает еще здешняя городская земля – так же как год назад в августе, когда он все это неясно еще обдумывал, – также перед зеркалом сидела и она, – он видел ее со спины, ее силуэт, но лицо свое в зеркале она заслоняла для него своим затылком, – многократно повторяя свое отражение, приближаясь и отклоняясь. Этот год – он сам называл его подготовительным, словно он должен был заново подготовиться к школе – пусть даже высшей – был посвящен непрерывным занятиям – его как преподавателя, но и как будущего студента, хотя состоится ли начинание, было неясно. Кроме того, он на всякий случай приобрел дополнительный аттестат зрелости – на лестнице перехода в метро на «Новокузнецкой». Собственно, он никого не обманывал, так он себе внушал, – просто он восстановил по памяти свой же аттестат, который уже наверняка сгинул и сгнил в архивах университета, который он давно закончил. Скрупулезно он восстановил все отметки со всеми болезненными отметинами памяти, – лишь год окончания сдвинул на 14 лет позже, было ему сейчас 42, а при его постоянной игре цифровыми соответствиями хотелось ему вернуться в хорошее четное число, и он выбрал 28, полагая, что при нынешней его молодости и при гримерных способностях некоторых его друзей – были у него и такие – он сможет (почаще затаиваясь в тень), выдать себя за великовозрастного, но все же студента, который вот вдруг решился и поступил – в первый же набор – на эти самые заманчивые Высшие женские курсы, возрождавшиеся который уж раз. Куда принимали, понятно, в основном лиц женского пола, но все же для расцветивания – так ему сказал Ослик, – предполагалось внедрить в каждую группу и несколько лиц пола противоположного. Именно там надеялся он затеряться в толпе замкнутых на себе юных молодых женских лиц, которые не будут так уж пристально вглядываться в мужское лицо, не будут слишком придирчивыми, будут довольны и тем малым, и, может быть, жалким, что в его лице им отпустила учебная судьба. Все внимание всех будет уделено, несомненно, женскому контингенту, а на него будут только изредка обращать внимание. Не то что видя в нем подсадную утку, но все же дистанцируясь, что, в общем-то, хорошо для него.

В себе он чувствовал не просто стремление к умножению знания, – непрерывно читать и расти над собой входило в его круг повседневных обязанностей как философа по профессии (сомнительной профессии, конечно). Здесь было что-то более глубокое, чем желание получить второе, третье, невесть какое, высшее или сверхвысшее образование. И не только тоска об уходящей, скрывающейся за учебными дверями собственной молодости. Во всем он чувствовал разлитый, непроявленный упрек, смысл которого ему был неясен, но неуклонен.

Тот сон не был в точности повторяющимся, нет, это были весьма вольные вариации на тему, внешний смысл которой был понятен, но скрытый призыв ускользал. Но всегда то был сон о невыполненном задании. Вот он уже на старшем курсе какого-то (варианты были различными) весьма сложного вуза, но он не посещает цикл лекций или семинаров, правда, непонятно по какой причине, – ничто, казалось бы, не должно мешать ему присутствовать там, если он так переживает. Никакие внешние жизненные обстоятельства не преследовали его и не являлись препятствием. Но все же он сознавал, с каждой неделей неизбежной – а во сне проходили иногда буквально месяцы, – что он глухо приближается к финалу, – неотвратимо его путь учебы должен был прерваться. В таком сне ему виделось указание на то, что он чего-то важного в жизни не понял или не совершил. Он просыпался всегда с полным убеждением, что все произошло как в его сне и что ему опять надо начинать заново, и лишь после долгого самоубеждения, где присутствовали и логические доводы, чуть ли не предъявление себе диплома, – ему удавалось уверить себя, что все в порядке, ему не надо начинать заново учиться.

И он завидовал всем идущим в школы, особенно первоклассникам, но он не знал, куда бы ему сильнее хотелось устремиться: за школьниками или студентами, словно ему хотелось войти сразу в несколько классов и аудиторий, – его присутствие только в одной комнате не успокоит его жажду, а только усилит разочарование. Он начинал думать, что избавиться от

навязчивого и, в общем-то, мучительного сна (хотя почему так уж надо избавляться от таких снов-упреков, представляющих собой пробуждение совести или вины во сне, – непонятно) можно лишь одним: действительно начать учиться заново. В буквальном смысле. Стать первоклассником (не второгодником, но во второй раз попробовать войти в ту же жизнь, в тот же, хотя и другой уже класс) или первокурсником. Пойти на унижение и самоумаление. Что совершить буквально представлялось невозможным, но мысленно он был к этому уже готов. Взглянуть на мир новыми глазами ребенка-дошкольника, которому сразу же начинают внушать небывалые истины, но ты взрослый внутри такого ребенка будешь сознавать, что все не так просто или вообще не так, но ты умалишь себя, ты заставишь писать себя под диктовку, хотя, конечно, это будет совсем не то, что тридцать-сорок лет назад. Все же истины немного изменились. Изменилась форма, сама форма (ему хотелось сказать «униформа») школьников изменилась. Но он понимал глупость своих рассуждений и чувствовал красноту стыда на лице, хотя понимал, что не видит себя и что «краснота» – такой же вымысел и заемное слово, как и его мысли о желании пойти в первый класс. «Подобный подвиг унижения (или уничижения) не для меня. Но можно попытаться стать молодым студентом, – в свои сорок два я выгляжу достаточно моложаво и даже молодо. Никто, конечно, за двадцатилетнего меня не примет, но при надлежащем гриме двадцать восемь лет я смогу себе дать. Такого вот нового студента, прошедшего уже сложный жизненный путь (даже если не говорить, легко представить, какой) и выглядящего старше своих двадцати восьми лет. Но пришедшего в университет по наивности. Полагая, что знания что-нибудь значат. А на самом деле совсем за другим пришедшего сюда, – чтобы в свои двадцать восемь не находиться в страшное первое сентябрьское утро на улице. Чтобы скрыться в тенистой аудитории».

«Если мне предлагают учить, значит, я не способен учиться, значит, я завершен?» – спрашивал он сам себя в который уж раз, потому что понимал, что обращаться с таким вопросом к своему практичному другу бесполезно. Все это вселяло в него старую тоску и тревогу. Он был изъеден рефлексией, как ледяная глыба весной. Хотя никто не требовал от него ничего и не понуждал. Но он знал, что только он сам может изменить свое состояние или движение свободы, к свободе. «Минет год, и никто не заметит, что со мной все могло быть иначе, – шептал он себе. – Никто не заметит изменений. Всем все равно. Все воспримут орнамент предметов как должное. Любой волен переставить, хотя бы мысленно, две фигуры людей на улице. Никто ничего не заметит. Но мне не близка такая свобода, хотя я чувствую себя в ней как птица в воздухе, – я хочу и чего-то иного».

«Стать первоклассником первоклассным». Так говорил он себе, сидя в своей квартире перед зеркалом (старинным темным зеркалом в прихожей – он задержался перед ним и стал вглядываться в свое лицо, словно пытаясь снять и увидеть все сразу слои и тени времени, покрывшие его столь знакомое лицо), в двадцатых числах августа, когда душное августовское московское солнце изгоняло всякую мысль о каком-либо повторении. Тем днем он получил неожиданное подтверждение, что его заявка на немислимую, казалось бы, тему «Готфрид Лейбниц и проблема абсолютного нуля в математике», посланная в фантастический фонд «Зорро», получила одобрение. Что, казалось бы, надо было ему еще. Вероятно, его жизнь теперь как-то будет на три года обеспечена. Редкая удача. Все его товарищи-философы изощрались в выдумывании невероятных предложений в этот призрачный фонд, – ведь было известно, что только безумные идеи там одобряются, но, кажется, лишь он удовлетворил скрытое в тумане секретности и конфиденциальности сообщество. Кто решал в этом Фонде, было неизвестно. Рецензент давал страшную клятву (поощряемую тоже страшным по величине гонораром) о неразглашении – в противном случае ему грозила чуть ли не опись имущества – бред, конечно, – никто не слышал ни о чем подобном, но и случаев разглашения тоже не было.

Он глядел в августовское зеркало и пытался вспомнить, как его зовут. Видел в зеркале оставшуюся от далекого уже праздника дня рождения темную высокую розу, померкшую, но

все еще похожую на пагоду. Ему казалось, что во вглядывании в это прозрачное стекло он достиг такой степени отрешенности, что все слова и имена отошли от него. На самом деле он подозревал, что то была просто лень, ему удалось отдалить от себя звук и смысл своего имени и не хотелось приблизить его. В блаженной лени вместе с тем он вдруг осознал, что решение Фонда (если он не состоял всего из одного человека, который все решал по произволу) было определенным знаком ему. Прямым указанием, что надо что-то изменить в своей медленной и инерционной жизни. Сам он не понимал, почему он так решил. И почему осознал, что настало время перемены участи.

Фонд этот был основан неким некогда невероятно богатым человеком, который решил именно в России (хотя и не только здесь) открыть прииски по поиску идей. Собственно, основным его устремлением, неясно обозначенным, было возрождение средиземноморской мощи мысли и духа, утраченной во мгле веков. Вобрав в себя, казалось бы, все национальности из этой области мира, он отыскал в себе часть и русской крови, – не то  $1 / 16$  или  $1 / 32$  (о, это чисто космополитическое стремление найти музыкальные доли своего происхождения), что, по-видимому, побудило его бросить взор на Россию, хотя устремление российское в полдневную, средиземную сторону тоже было, наверное, ему известно. Человек этот поощрял только перспективные безумные идеи, но как найти это сочетание и, главное, как удовлетворить желание «Зорро», было неизвестно никому. В Москве в Угловом переулке (почему-то именно здесь) висел лишь единственный ящик, куда опускались конверты с заявками. Больше ничего не было известно. Заявки принимались в произвольном виде (впрочем, оговаривалось, что они не могут превышать тридцати страниц). Поговаривали, правда, что «Зорро» этот был знаком со вдовой Аристотеля Онассиса, но что скрывалось за подобным шифрованным сведением, было все равно не понять, как если бы сказали, что он был знаком с Осирисом или общался с философом Аристотелем.

Только сейчас, сидя перед тем же зеркалом, он понял вдруг, что название его заявки странным образом созвучно с названием самого Фонда. Но явилось ли это одной из причин, повлекших «неотказ», – так из странной предосторожности (чтобы произошедшее не исчезло из реальности) называл он решение Фонда, – он не знал. Может быть, сыграло роль время дня, которое он выбрал, чтобы опустить конверт там, в Угловом переулке. Наверняка всевидящее око, запрятанное где-то рядом, обратило на это внимание. Почему-то ему показалось, что надо приблизиться и опустить конверт в определенное время. Не в полночь, когда время обнуляется, и вроде бы все могло намекнуть на смысл совершающегося. Нет, должно было быть что-то иное. Смысл мог быть понят только при проникновении в глубину его гипотетической философской работы, которая почему-то связалась в его сознании с Лейбницем. Нуль абсолютный в математике здесь понимался как абсолютный нуль температуры в физике, то есть приближаемая, но недостижимая величина. Впрочем, на этот счет у него были сомнения. Но именно математический нуль, который всеми так легко писался, рисовался, обозначался и проходил во все стороны, представился ему вдруг точкой идеального и недостижимого предела. Того предела идеала, который знает лишь Ахилл, замедляясь и проникая все глубже в раскрывающийся воздух в устремлении за своей черепахой. Соотносимого с бесконечностью, впрочем, здесь ничего нового не было – топологическое перекручивание нуля (так он выражал простую операцию со знаком) и низведение его в упавшую восьмерку и означало для него встречу, актуальную встречу с бесконечностью. Сама знаменательная любовь Готфрида Лейбница к созданию новых знаков и приданию такому действию мистического смысла породила отчасти название его работы.

Он сам не знал точно, что за таким названием может скрываться, зная только, что поиск этого смысла и есть цель работы, поскольку обозначение абсолюта не предполагает обязательной недоступности его, – так Северный полюс может быть достигнут, но останется, несмотря ни на что, порождающим смыслы понятием. Он полагал, что может определить что-то вообще

доселе небывалое. Абсолютный нуль ему виделся даже более историческим смыслом, верстовым столбом, к которому может быть привязана за уздечку лошадь Мюнхгаузена, когда вокруг снежная пустыня. Он хотел, благодаря ему, увидеть самого Лейбница, задержавшимся во времени. Но когда он сказал о своей «нулевой удаче» Ослику, тот тут же призвал это включить в гипотетический курс лекций, которые, как предполагалось, он начнет читать для слушательниц, студенток курсов – и для себя самого, поскольку он становился студентом женских курсов, – включить проблему достижимого-недостижимого. Теперь необязательно идти в институт, где он работал, философствовать, – впрочем, он и так там редко бывал, – а начать новую трудовую и учебную жизнь, стать профессором, – что было ему несомненно обещано, – и молодым, хотя уже и подержанным, потертым жизнью студентом.

Понятно, что курсы со сходным названием (как их ни называй) открывали и закрывали за последнее время много раз, цитируя при этом Ключевского – давнюю его речь, когда-то произнесенную при очередном закрытии Высших женских курсов, – говорил историк о них как о первых рассадниках высшего женского образования в нашей стране, и о том там было сказано, что впервые здесь отнеслись с полным доверием к уму русской женщины, признав, что он безопасно может подняться на высоту высшего образования, на которой и у мужчины нередко кружится голова. Что хотя все закрывается, но в будущем все еще скажется. Но сейчас затевалось действительно нечто неслыханное. Невиданное ни здесь, ни там. К организации были подключены, как говорили, лучшие умы. Но не всегда все можно создать умом, с чем тоже надо было считаться и что тоже надо было понимать.

Для себя-студента он уже присмотрел особенно острую опасную бритву, чтобы бриться начисто, набело, вернее, начерно, чтобы ни один седой волос бороды не проступил, для себя-профессора давно приглядел парик, затемненные очки и черную бороду, которая как облако должны была окутать его все еще молодое лицо. Так он хотел два образа развести, отвести подальше от своего возраста.

Он увидел ее еще раз перед зеркалом – перед своим (старинным маминым зеркалом, в которое он любил заглядывать в прихожей, – было еще оставшееся мамино трюмо – в комнате, – в которое он не любил заглядывать, – там он видел свой профиль – в боковой створке – таким, как видят его другие, – но себе, видимому другими, он не мог посмотреть прямо в глаза, – но почему он должен был принимать за свое лицо то, что предьявляло ему зеркало, а не тот огромный и темный мир его прихожей и дальше за пределами его квартиры – который он видел, и тот мир видел его) зеркалом он увидел еще раз ее – незнакомый юный девичий силуэт, он не мог увидеть ее лицо, потому что она вглядывалась в свое лицо в зеркале – решая важнейшую девичью и женскую свою задачу, а он не мог увидеть лицо, потому что был сзади, за ее затылком, он мог только различить отблеск ее темных волос, – вернее, запах отблеска, который, как ему показалось, он узнает. Он знал, что этот силуэт не похож на силуэты портретов его мамы, но то, что он увидел его в раме маминого зеркала, заставляло вглядываться в него.

Неслыханно сложная задача – так он думал – описать словами, вразумительными и образными словами то, что не видишь, а он ее не видел. Именно это надо сейчас сделать, потому что ее контур – женственный контур со спины сидящей перед зеркалом юной девушки. Он думал, что она молчалива, даже сама с собой она, кажется, не разговаривает в миг, когда вся погружена в свое отражение. Взгляд ее сумрачный и, как сказали бы, наверное, в XIX веке, туманный. Почти неразличимы и неразлучны (так ему хотелось сказать) ее глаза – самое ясное сейчас в облике. То, что ей предстоит, она знает, но это ничего не значит, если не совершить предназначенное. Но она хочет познать это не вовеки себя. Какое имеет зеркальное отражение отношение к самому человеку – сложный вопрос, но хочет узнать, вглядевшись в свое лицо. Женственный контур девушки у зеркала, женственный контур со спины, девушки у зеркала, и потому заграждавший ее лицо, он увидел на миг, – то не был его силуэт, хотя он думал о себе из-за этих Курсов отчасти в женском роде (если и не о курсистке, то о «курсисте»), – то

был контур реальной девушки, которая не только убирает свои волосы, но и гадательно вглядывается в зеркало, чтобы обнаружить, что и кого принесет, привлечет ей новый учебный год, который, словно по допетровскому, почти допотопному календарю, должен был начаться с 1-го сентября.

## 2

Совсем уж приблизилось 1-е сентября, и он стал задумываться, в какой студенческой тужурке явиться в первый праздничный день перед воротами университета. Ведь в этом университете будет особый мир, в котором он будет существовать, – незнакомый женский мир, где он надеялся укрыться до поры, сделаться незаметным, но примелькаться в глазах других, стать если не вечным, то хотя бы долговечным студентом, которого все знают и прощают слабости за то, что он есть, за то, что мозоля всем глаза, напоминает всем об их несомненном присутствии здесь, – так что его исчезновение было бы воспринято как потеря.

Все же к первому дню учебы надо было подготовиться основательно. Друг-гример заверил его, что первая неделя – самая важная в его внешнем облике. Надо запечатлеть себя во всех глазах. Дальше можно расслабиться, даже если ты будешь выглядеть старше своих мнимых лет, – впрочем, ничего нового: двадцатилетний Ломоносов среди учеников-детей – всегда свои мнимые лета можно списать на плохое самочувствие, непобритость, запущенность личной жизни, и даже вызвать жалость – но в меру – в глазах женского большинства, несмотря на их несомненный снобизм существ, попавших в исключительные условия небывалого внимания и ожидания. Поэтому требовалась особая тщательность первичной гримировки.

Поглядел он внимательно в свое новое внешне омоложенное лицо и понял, что не может смотреть в это неуловимо неузнаваемое, неопознаваемое лицо, даже в циклопный единственный глаз компьютера, который возвращал ему в зрение образ лица, не в зеркальном, а прямом виде, так, как его могли наблюдать другие.

Волнение его было велико. Не философствовать надо было, идя в институт, рассуждая об отвлеченном понятии «другого», но самому ему предстояло стать неким другим. Но что же он за философ такой, если способен мудрость понимать лишь как список рассуждений, а сам не способен в жизни даже шаг сделать в сторону.

Необходимо было обдумать свой внешний облик, понять, в какую рубашку облачиться, в какие брюки ее заправить. Что может надеть нынешний молодой, но уже двадцативосьмилетний человек, он не знал. Спрашивать Осли было бесполезно. И так тот был занят его делами – помог ему сдать вступительные экзамены, некоторые как-то удалось даже перезачесть. Сочинение, правда, пришлось писать самому. Признали его если не блестящим, то все же сносным, достойным соответствовать положению студента Высших женских курсов. Но без помощи друга вряд ли бы он туда поступил, так что не стоило занимать того примитивными вопросами.

В первый свой день новой незнакомой жизни он не без нервного холодка, прихорошась и подправив грим, пошел осенними уже переулками в сторону нового своего учебного здания. «Заведения» не мог он без тени смеха произнести, но слишком все же серьезно, торжественно и незнакомо было в этот день. Легкая тошнота, словно кайма недалекого моря, все время подступала к горлу, но при этом он себя успокаивал. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но кто сказал – какой такой Гераклит доморощенный, что нельзя войти в нее трижды?» Так он придумывал для себя простенькие философские шуточки вроде того, что «нельзя сидеть между двумя стульями, но между тремя – можно». Все же он не отвлекался на рассуждения, больше он внимал тому, что происходило и не происходило вокруг. Почти летнее тепло еще было прижато в тенях дворов, и низкие одноэтажные и двухэтажные дома отрывали маленькие свои форточки, словно ладошки, ему навстречу в переулок.

Вспомнил он невольно тот ужас принужденья, который сопровождал его, идущего когда-то в школу, и подумал, что нынешняя его свобода – хочу иду, хочу не иду – несмотря ни на что таит в себе какой-то холодок отрешенности.

Проблема одежды сильно занимала его в преддверии 1-го сентября. Тужурку он мысленно себе уже присмотрел. Но надо было еще обдумать штаны, – ведь на Высших курсах

(«Высших девичьих курсах», как он их для себя обозначил и постоянно повторял) будет отделение – он знал это доподлинно и уже назвал его «Кройки и шитья» – на самом деле – «Моды и дизайна», и он представил, прикинул, как будущие закройщицы-теоретики окинут критическим взором его ретро-штаны, если он задумает в них явиться, поэтому решил выбрать нечто нейтральное. «Не бросаться сразу в глаза, вот что должно быть главным», – шептал он себе.

Появился он перед дверями университета, но оказалось, что надо идти на задний двор, где ожидалось построение по факультетам и по группам. Встретило его нечто торжественное и как будто организованно-скомикованное: играл какой-то полковой – так ему показалось – оркестр, и маршировали ряды гусарских девушек в красной униформе, белых лосинах и, по видимому, черных киверах (не старшекурсницы ли переодетые? – еще подумал он). Грозди воздушных шаров заслонили часть неба. В промежутках между музыкой выступали заслуженные люди, профессора и преподаватели университета, призывая студентов и студенток будущих особенно не напрягаться, но всем своим существом – вольно и свободно устремиться к учебе и в учение. Порадовался он, что не надо ему быть по ту сторону трибуны, потому что к своим профессорским обязанностям должен был приступить он лишь в конце недели. С верхних этажей из окон и с балконов выглядывали местные жители – обитатели зданий, в которые переходил тут же университет.

С Осли они довольно долго – минут пятнадцать – обсуждали его профессорское имя. «Ты ведь можешь носить научный псевдоним, – сказал ему Ослик. – Понятно, что как студент с документом ты обязан быть под своей фамилией, но в качестве профессора можешь присвоить себе нечто иное и звучное. Диогена мы уже с тобой обдумали, но взять фамилию Диогенский или Диогенов, или даже Диогенов-Лаэртос было бы вычурно и претенциозно. Почему бы тебе не попробовать взять фамилию Виноградов или Виноградский?»

– Тогда уж лучше Вертоградский... «Вертоград моей сестры»... возьму-ка я имя Вертоградов – в этом есть хорошая примесь «ретрограда», – это старое благородное вино имени, его приятно поднести ко рту.

– Профессор Вертоградов, или все-таки Вертоградский, – тут же серьезно произнес Осли, – как Вы назовете свой лекционный курс, да и вообще – о чем он будет?

– Хотел я сказать... назвать его «Взгляд и нечто»... и понял вдруг, что в этом суть... именно, именно так... назвать его «Зрение и ничто»... «Свет и бытие» – вот тема, которая все объединит... «Consonantia et Claritas» – «Пропорция и сияние»... все, все осветится, все философские века... Зенона с его черепахой... достижение-недостижение... то, что ты хотел... но все эти проблемы бесконечности, может, перенесем на попозже?... взаимоотношения Зенона со своим старшим другом – так выразимся – Парменидом... Платоническая традиция пиров, симпозиумов... а также Сапфо, Лесбос и т. д. ... перенесем на весенний семестр...

– Нет, не перенесем, – заверил его Осли, – надо здесь раскрываться сразу, ничего не откладывая на полгода. Зачем? Да и Курсы могут закрыть в любой момент.

Только оказавшись на первом семинаре в своей студенческой группе, он понял, что новая учебная его жизнь будет наполнена неизвестными еще трудностями. С самого начала он выбрал себе способ присутствия – в аудитории, почти сплошь состоящей из женщин. Впрочем, способ такой не отличался от его всегдашнего – в любой учебной комнате он тут же первым занимал задний ряд, – «быть на задней парте» (на Камчатке, Сахалине, Хохландии – он смутно помнил, что так в гимназические времена называли эти любимые учебные места), – хотя парт-то уже не было, были современные столы и легкие стулья, – занять сразу стратегический пункт, чтобы оттуда, оставаясь почти что («в меру», как он сам обозначил это) незаметным, наблюдать происходящие события. Там на заднем ряду, за одним столом он обнаружил и своего товарища – вечно спящего, как сразу он определил, инфантильного, почти подростка, юношу. Оказалось, что из двенадцати человек в группе их – представителей мужского пола – только двое. Тот сразу протянул ему вялую ладонь для рукопожатия, но больше никаких движений не совершал

и участия в семинарском занятии не принимал. Это был какой-то сонный вундеркинд, почти ребенок, он почти все время почему-то дремал, затаившись на заднем ряду. С аутистом, как он для себя его сразу назвал, не было надежды найти хотя бы простые (не говоря о доверительных) отношения. Приходилось, к тому же, быть все время настороже, чтобы не выдать – излишними знаниями или невежеством – свой истинный возраст. «Понятное дело, – подумал он, – его одноклассник тоже попал сюда по протекции, да и как иначе попадают молодые люди на Высшие женские курсы. Наверное, отчаявшиеся родители решили: пусть лучше уж женское получит образование, чем никакого», – так думал он о судьбе этого юноши.

Девушки лишь иногда оглядывались назад, причем некоторые с явным удивлением, – оглядывались на задний ряд, на котором расположились они. Студентки смотрели на них как на нечто инородное и подозрительное в их единой среде. Понятно, что юноши их влекли, хотя пока им надо было осмотреться и разобраться на новом учебном месте. Но чувствовал он, что, по сути, один здесь мужского пола – «рода», как он себя обозначал «грамматически», – один в своем роде и числе.

На первом ряду он сразу – и, странно, он не удивился факту – различил ее силуэт – так ему показалось, что это именно ее затылок темных волос (почему он так решил, непонятно), – этот контур, овал ее головы, который он видел сейчас с заднего ряда, почему-то напомнил тот силуэт, который виделся ему тогда в зеркале, и с тех пор не исчезал в его глазах. Сейчас, как и тогда, он не мог видеть ее лица. Она не оборачивалась, иногда только слегка поворачивала свое лицо, так что можно было увидеть лишь начальный силуэт носа и высокие надбровья («тес профиля» – как он для себя назвал и определил это).

Первое семинарское занятие было посвящено латыни, и он понял, что оказался профаном в девичьей просвещенной, далеко уркакавшей вперед аудитории. Многие девушки пришли, по-видимому, из гимназии, где уже изучали древние языки, которые в недавнем прошлом были мертвы, но, как оказалось, все же опять живые. Так что он и полусонный юноша оказались чуть ли не единственными, кто лишь понаслышке знал о латинском языке. Но преподавательница сразу заявила, что никаких поблажек не будет, делений на слабых и сильных не потерпит, и хотя они начинают изучать язык как бы с самых азов (что прозвучало странно применительно к латыни), но все будет настолько интенсивно и быстро, что, если кто-то не включится, то... – тут она сделала паузу и попыталась пробить взором дальний ряд, где затаился он и где дремал его новый товарищ по полу и образованию. Не получив никакого отклика, она приступила к занятиям, причем некоторые девушки разговаривали с ней на вполне сносной латыни, и она отвечала им так же, ничуть не беспокоясь, что некоторые могут не понять ни слова.

Он напрягал все свое чутье и интуицию, и некоторые надерганные сведения – в основном из латинских пословиц и поговорок, – которыми иногда любил сорить в кругу друзей, но, по правде, не понимал ничего или почти ничего. Повторяя кратко все, что было известно, они начали с фонетики, но все шло в таком бесперебойном и бойком ритме, и многие просто вновь входили в школьный материал, так что он почти ничего не улавливал. Причем эта грозная (так он почему-то решил) девушка с первой парты принимала самое непосредственное участие в беседе. Заметил он, что другие студентки прислушиваются к ее репликам и даже замолкают, когда она что-то произносит. Стал он склоняться к мысли, что она является старостой группы. Возможно, это было для всех очевидно, но при первой переключке он так волновался, что почти не слышал имен, да и свое-то с трудом разобрал. По-видимому, называли и ту, которая должна была быть старостой, но он ничего не запомнил.

Дошли они в своем повторении и до латинских падежей, и он еще раз увидел эту девушку их группы, которую сразу выделил вниманием из толпы первого ряда.

Показалось ему также, что некоторые девушки знают друг друга – не со школы ли? Или пришли сюда по согласию. Не привела ли их она? – подумал он. В какой-то момент напряженного разговора эта студентка повернулась вдруг к перешептывающимся подругам – по-

видимому, подругам, и что-то произнесла по-латыни резко и достаточно громко. Девушки на секунду примолкли, затем тихо засмеялись, – потом одна подняла палец и произнесла тихо, но достаточно внятно:

– *Ira magisteris!*

Ничего он не понял, ему показалось, что эта девушка назвала имя *Ira* их грозной руководительницы. Лишь позже он узнал, что она сказала «Гнев учительницы», но уже не мог по-другому называть ту грозную девушку с первой парты, и теперь *Ira* стало для него ее именем (почудилось, впрочем, что настоящее ее имя Катя Горичева, но вскоре он узнал, что так зовут другую девушку их группы, совсем незаметную и тихую, а имя *Igu*, действительно, *Ira*).

В перерывах (ему хотелось сказать «переменах») между первыми занятиями он попытался пройти по странному огромному зданию, где, как вспоминалось ему, он бывал неоднократно, но как-то разрозненно и давно, так что он не узнавал этих мест. На высокой двери он прочел «Профессорская» и подумал «Мне туда», но, взявшись за ручку двери, спохватился и так и не решился дверь открыть, – ему почудилось, что все воззряется на него, и профессорский женский, непременно женский голос альтом певуче и свысока тут же спросит его: «Мальчик, тебе что?»

Пошел он и в здешний буфет, расположенный, как в лесу, между стволами огромных порфировых колонн, должно быть, коринфского ордера. Что говорило о смутной и, по-видимому, хорошо забытой древности здания. Выпив чаю, он взял бумажную салфетку, но рука сама остановилась, едва он поднес салфетку к губам – была она какого-то изысканного кирпично-коричневого цвета и с узорами-тиснениями в виде серпа и молота. Вспомнилась ему одна фраза в их недавнем разговоре, вскользь брошенная Осли о том, что здесь раньше располагались Высшие парткурсы или партшколы. Тогда он еще не сразу понял, о чем идет речь: ему показалось, что «парт» – это сокращение от слово «парта», и в голове потом крутилась нелепая «Школа парт». Сейчас он понял наконец, о чем шла речь, и вдруг подумал, что в такой невольной преимственности есть незамечаемая никем символичность.

Хотелось ему, конечно, подружиться с кем-нибудь из студентов, но на своего одногруппника надежды было мало, а другие в первый сентябрьский день были заняты своими делами, у всех глаза были счастливые и не располагали к участию. С девушками он не знал, как начать разговаривать, – он чувствовал себя моложе их.

Да и надо было задуматься о своей первой лекции. Когда их всех первоначально собрали в огромной белой аудитории, он так же, верный себе, постарался забраться на самый верх, чтобы озирая спокойным взором всю округу. Здесь, как он понимал, ему предстояло в конце недели самому начать лекционный курс. Поэтому он словно бы выбирал диспозицию, забравшись на подходящий холм. Поверху по краям белой красивой аудитории шли написанные золотом изречения древних философов, и хотя понятно, в аудитории читали лекции самые разные гуманитарии, ему понравилось, что все здесь настраивает на глубокомысленный лад. Однако не без содрогания занял он свое место на самой верхотуре овальных рядов (намекающих отдаленно на античный амфитеатр) среди студентов и в основном студенток. Это его волновало, но еще сильнее бодрила, как осеннее утро, неизвестность его новой работы – так он назвал свою профессорскую призрачную деятельность – и необходимость сосредоточиться, собрать всего себя в единое (но обозримо делимое – так он прошептал себе) целое.

## 3

Стал он, готовясь к первой своей лекции, до которой, как считал, еще далеко – целых три дня – всматриваться в труды древних, тех, что пытались сказать, сами того не подозревая, о женском проникновенном начале в науках и искусствах, но нашел очень мало чего. Незримое было сильнее: сивиллы, пифии, музы и грации – они окружили его. Стал он читать в каком-то подозрительном переводе трактат Марциана Капеллы «Бракосочетание Филологии и Меркурия», где давался обзор семи свободных искусств, представленных в аллегорических образах юных невест. Вспомнилось – или только казалось, что помнится ему, – картина не средневекового уж времени, а даже послевозрожденческая, где Наука в виде прекрасной женщины обнажает истину, снимая часть своего покрывала перед взором ученого. Это ему почему-то не понравилось, и он от посторонних, как ему показалось, видений погрузился в трактат. Там были тоже образы, гораздо более целомудренные, юных женщин, олицетворяющих – на незабываемых, хотя и поблекших цветковых миниатюрах, – семь свободных искусств. Именно об этом хотелось ему вначале сказать перед женской молодежью Высших курсов. Перед тем как пуститься в плавание по бесплановому своему пути, то есть по курсу лекций, не имеющему отчетливого маршрута, но зато имеющего определенное название «Свет и ничто», прикрывающее более популярный вариант «Взгляд и нечто».

Он хотел сказать слушательницам во вступительном слове о важности проникнуться, не возвращаясь, конечно, во времени, духом энтузиастических средних веков, постигавших науки через таинства. Впрочем, словесное искусство понималось там практически. Первая часть изучения, или тривиум – отсюда «тривиальный» (хотя часть была совсем не простой) посвящалась именно трем наукам о слове: грамматике, риторике и диалектике (сиречь философии). Вторая часть, или квадривиум (ему хотелось сказать «квадриум») была связана с гармоническим подключением к слову числа: «Арифметика, Геометрия, Музыка, Астрономия». Отсюда он повел бы их и к смыслу своего курса, который, как он сообщил Осли, будет именоваться «Пропорция и сияние».

Внешний облик тоже его беспокоил: надо было готовить – так он выразился – свое лицо самому, без помощи гримера, пользуясь только беглой поверхностной консультацией. Ну и, действительно, усы, бороду и брови он нашел по совету в магазине театрального реквизита. Волосы у него и так были густые и темные, так что они отлично подошли ко всей остальной инородной – или, лучше сказать, иновыросшей, иновыращенной – растительности. Очки скорее со слегка дымчатыми, чем затемненными, стеклами дополняли его облик из будущего – так ему хотелось думать. Взглянув на себя обновленного в зеркало, он представил в глубине еще одно зеркало – иное, где он являлся сегодня в своем омоложенном облике. Словно он оказался в световом коридоре, поддерживая сегодняшним своим образом своды призрачного прохода из прошлого в будущее и обратно. И сам он молодой и другой, более зрелый, чем сейчас, маячили где-то вдалеке, и все трое они двигались вместе в свету.

Надо было потренироваться в надевании и снятии нового обличья, поскольку ему предстояло видоизменять себя достаточно быстро в университете, переходя из себя молодого, минуя промежуточного, в себя будущего, уже основательно пожившего, – ветерана жизни. Возможно, так он подумал, свой туалет удастся менять в университетском туалете – на смену облика требовалась минута.

Несмотря на новые теперешние интересы и обрывочные разговоры студентов и студенток – разговоры, в которые он поневоле и радостно ввергался, – чувствовал он, однако, себя одиноким. Поэтому и представлял себе «тройной диалог» – разговор «трех возрастов»: себя «почти юноши», который только что пришел домой из университета, себя «пятидесятилетнего профессора Вертоградского» и «себя настоящего», которому на момент разговора вроде бы

было все те же 42 его года. Но такой разговор быстро тускнел в его воображении. Ничего отдаленно похожего на представимый, допустим, разговор-триалог «Сократ-Платон-Тезтет» не получалось, поскольку тоска и постоянные бытовые заботы все перебивали, к тому же женские образы – видимые с задней парты – почему-то непрерывно перемещались перед глазами. Он сообщил об этом Осли больше ради смеха. Но тот встревожился даже, услышав о возможности «тройного договора»: «Мы пошли с тобой на эксперимент не для того, чтобы ты продолжил когда-нибудь свои лекции в психбольнице». Ответный смех заставил Осли тоже улыбнуться, но все же они долго потом с ним говорили. «Тройной союз» был неизбежен, не мог же он появиться и читать лекции в своем обычном («гражданском», как он выразился про себя) облике, весь даже 42-летний и разгримированный, он не так уж сильно отличался от «себя-студента». Значит, надо было обряжаться в черную бороду, надевать лишние, но маскирующие очки и глухим голосом, о котором надо было постоянно помнить, демонстрировать такое глубокомыслие, чтобы ни у кого не было даже желания отрешиться и посмотреть, протерев глаза, кто же реально стоит перед тобой на кафедре и философствует, размахивая опыленными мелом пиджачными рукавами. Перед ними стоял их студент, отсутствующий на этой лекции.

Надо было обдумать хотя бы приблизительный план первой своей вступительной лекции перед слушательницами курсов. С одной стороны, он опасался, что его могут узнать даже сквозь профессорскую бороду, с другой стороны, не хотелось ему потерять себя, слишком увлекшись уклонением в другую роль.

Мысленно увидел он белый охват аудитории, куда под белые руки, казалось, вводила его судьба, и содрогнулся, поняв, что надо призвать все мужество, чтобы предстать поистине мужским пророком в женском пространстве, где к тому же будет ощущаться нехватка одного студента, – его самого, который мог бы поддержать его хотя бы своим присутствием.

Прошедшей ночью он видел сон, от которого осталась лишь одна искаженная и странная фраза: «По вторникам будешь догонять свою черепаху». Приложив немалые усилия, он убедился, что во сне не было угнетавшей его раньше вины перед экзаменаторами, и еще он вспомнил, что вроде бы, вот он, обогнал черепаху – так ему показалось, – опустился в изнеможении на пыльную дорогу, но черепахи сзади не видно, так что, может быть, она была все еще впереди него. «Да, – подумал он, – можно было бы студенткам на первой лекции предложить парадокс покруче зеноновского (впрочем, как он тут же понял, что это тот же парадокс, давно уже разрешенный, причем разными способами), только высказанный прямее: «Ахиллес может обогнать свою черепаху, но догнать не может».

Неожиданно даже для себя самого вдумывание в смысл первой вводной лекции, которая и должна определять весь курс, все больше влекло его куда-то в «женскую сторону». Никогда особенно раньше он об этом не задумывался, но обстоятельства – впрочем, не случайные, а тайным его сознанием спланированные, – заставили всматриваться в сомнительную для многих тему. Стал он определять возможные проблемы или диалоги дилемм, как он выразился про себя: «Софистика и софийность», «Практическая софийность» и все в подобном духе. Представилось ему, что невольное попадание его на Высш.-Жен. – Кур. – ВЖК было давним неявным стремлением и тяготением его мысли: Ахилл пытался достичь недоступный женский идеал, гармонически звучащий и тихо тренькающий в дали в виде черепахи-лиры.

Подойдя к двери белой аудитории и взявшись за позлащенную ручку двери, он почувствовал вдруг такую охватившую его всего робость и при этом такую легкость в ногах, готовых повлечь его обратно и куда-то в сторону, что только немислимым усилием сумел удержаться здесь. Только то, что он держался за спасительную дверную ручку, удержало его, чтобы не унес его ветер куда-то вспять. Он стоял перед дверью, осознав, хотя лучше было бы не чувствовать это сейчас, что вот первый раз переступает он порог в ранге учителя. Никогда, да, никогда до сих пор он не преподавал, и волнение было сильнее, чем когда он вошел в университет в позабытой уже, но знакомой роли студента. Сейчас ему предстояло тоже играть себя самого,

но не только его-другого, но и совсем незнакомого. За первые дни он на занятиях почти не промолвил ни слова, тщательно исполняя роль студента-послушника, а сейчас ему предстояло войти в роль профессора-резонера, не смолкающего ни на минуту. Поэтому он гадательно ждал, когда же рука сама повернет – правой рукой по часовой стрелке – заветную рукоять. На миг он почувствовал, наверное, ужас канатоходца-дебютанта, который, когда распахнет двери собственной рукой, должен ступить на сверкающую нить над бездной. Но тут он почему-то ощутил прочность себя, стоящего на двух ногах на земле, и сделал первые шаги, хотя и мешковато как-то, в дверь своей новой и незнакомой судьбы. В последний миг он оглядел себя и с изумлением обнаружил, что у него не застегнуты брюки. Вступать так в аудиторию, полную девичьих глаз, было, пожалуй, слишком большим эпатажем. Молниеносно он восстановил замкнутость своего костюма и шагнул вперед. Впрочем, все произошло уже так быстро и по-бытовому, что не было времени и чувств переживать теперь каждое мгновение как что-то небывалое.

Вступив в аудиторию, он услышал легкий гул и шум голосов, который немного примолк, когда он всходил на кафедру, но потом шум возник опять, хотя, как ему показалось, стало больше тишины. Вначале он не смел поднять глаза, достав специально приготовленный список тех, кто должен был присутствовать на лекции – здесь было собрано несколько групп, включая и ту, к которой он принадлежал как студент. Но назвав первую фамилию – он сказал, что хочет устроить – всего-то один только первый раз – всеобщую переключку – когда он произнес фамилию и имя, он поднял глаза. Он забыл поздороваться, но сейчас поздно было исправлять невежливость – надо было держаться уверенней. Море девичьих лиц – столь разнообразных и вместе – единых, услышавших звук его глуховатого голоса, предстало перед ним. Студентки его группы, чьи профили он видел лишь мимолетно, поскольку сидел всегда сзади, – очи студенток вдруг взглянули ему прямо в глаза, и он их не узнал. Он выкрикивал их имена и фамилии, и хотя раньше, конечно, слышал их на занятиях, но сейчас они предстали почти неизвестными: Дюкова, Филатова, Беренштейн, Скукогорева. Отдельно и дважды он произнес фамилии сестер-близнецов Евы и Люции из его группы. Каждая девушка – и встречающийся двенадцатым по счету в списке, – не чаще, – юноша, – кивали головой или выбрасывали руку или даже привставали, некоторые пытались даже – неуклюже на тесных скамьях – делать подобию реверанса. Но когда он дошел до фамилии Iгу, то никакого движения не возникло, и вдруг он почувствовал ее взор и увидел, что она неподвижно, несколько насмешливо даже и вместе с тем тяжело вглядывается прямо в него, – он почувствовал легкую дрожь, и сам неожиданно кивнул головою обозначая, что он заметил ее или, вернее, что заметили его.

Начал он лекцию как-то невпопад, так что даже не мог запомнить, что же он произносил. Потому что торопился поправить и словно бы зачеркнуть предыдущее и гнал вперед, вызвав некую оторопь аудитории. Очнулся он и услышал себя, когда произносил: «Ветхозаветная София, античная Афина, Мойры, Парки чем-то удивительно подходящи для созерцания, созерцания мужчиной. Самым важным в этом смысле для нас является загадочный образ Мнемозины. Вы помните, хотя вряд ли сами, – разве что по преданию, что прилежные ученицы (а возможно, и ученики) в советских школах созерцали, иногда ставя перед собой, бюст какого-нибудь вождя, – понятно, что мужчины. Чтобы видеть несомненный образец для подражания для прилежной учебы, учения. Такие бюсты можно было встретить везде: в классе, в домашней комнате, в красном уголке. Но все же это как-то не прижилось. Древние греки (преимущественно мужчины) на протяжении веков созерцали бюст какой-либо музы для вдохновения в искусстве. Живая женщина была в забвении, зато женские образы воссияли. Например, многие названия любви в иерархии от пандемос до агапе были известны и перешли понаслышке даже к нам. Символ мудрости Афины – сова – тоже женского рода. Но странно было бы, конечно, если бы легендарный ворон по Эдгару По вдруг слетел на мраморную сову. В этом могло быть что-

то комичное, и потому поэт безошибочно утвердил своего черного ворона на бюст Паллады – римский повтор Афины-мудрости.

Все же он никак не мог преодолеть вступительной части лекции, казалось, окончание начала все дальше отступало, чем настойчивее он шел к нему. И чем дальше углублялся Вертоградский в запутанные дебри скрещений и сопоставлений женских и мужских, как он назвал их, философом, тем отчетливей он слышал нарастающий, хотя и тихий вначале гул аудитории. Он читал, почти не отрываясь от тетради, хотя произносил совсем не те слова, что были написаны, изредка поднимая все же глаза за дымчатыми своими очками к верхам аудитории. Вдруг белое угловатое пятнышко мелькнуло в высоте, и он увидел, что к нему навстречу летит белый бумажный голубь, который опустился прямо на обшлаг пиджака. Хотелось ему произнести нечто высокопарное, вроде: «Голубка – символ мира, примирения, окончания бедствия потопа, но где же тогда оливковая ветвь?», но содрогнувшись, он промолчал. Он смахнул голубя, словно бы не заметив его, но тут появились новые. Они возникли одновременно из двух сторон аудитории, и тоже летели по направлению к нему. Он растерялся даже, поняв, что так его приветствует скука и отчужденность женских глаз и умов, но хотелось ему обратить свое приближающееся поражение в победу, и он метнул обратно одного из белых голубей, чем вызвал одобрителный девичий смех и даже аплодисменты.

Но голуби летели со всех сторон и огромной стаей. Среди голубей, летевших с амфитеатра белой аудитории, были теперь и цветные. Он различил уже на некоторых бумажных голубях надписи, и подумал вначале, что это вырванные страницы конспекта только что записанной его лекции, но потом понял, что здесь записки для него, начертанные прямо на крыльях. Некогда было ему читать записки, поскольку он продолжал монотонно механически читать лекцию, заглядывая в свои записки в тетради, но все же одного голубя поймал, потому что он летел прямо к нему в руку, и разобрал, что на одном крыле было написано «Aqua vitae», а на втором была изображена римская «VI». Некогда было ему вдумываться в смысл написанного на обоих крыльях, и только позже он догадался, вернее, как-то само сообразилось, что первое означало, конечно, вовсе не «живая вода», а «водка», а второе, немного зашифрованное – латинское «Sex», что созвучно произнесенной цифре «шесть». Еще один голубь, прилетевший к нему, был с длинным хвостиком нитки, и он невольно потянул за нее. Голубь дернулся в руке и пропищал голосом детского музыкального конверта с секретом: «Прочти меня». Раздался общий смех, и он уже вынужденно распрямил крылья и прочел: «В пьесе «Дачники» писатель Максим Алексеевич Горький устами одного из своих персонажей, писателя, кстати, тоже, утверждает: «Женщина – это низшая раса». Прошло сто лет, а верится с трудом уже, не правда ли, Негг Professor?». Раздражили его больше всего некоторые неточности в письме, но надо было что-то отвечать на студенческий вопрос, и профессор Вертоградский, вдруг почувствовав, какие речи могли звучать в этой аудитории почти сто лет назад, стал отвечать не своим голосом, с ужасом осознав, что в голосе Вертоградского появилась сварливость, и даже чуть ли не истерический надрыв и какие-то кликушеские интонации: «Не читал пьесы и вам не советую, но раз уж такое с вами приключилось, то скажу, что пролетарский писатель устами своего, по-видимому, мещанского происхождения писателя является только рупором идей Ницше, Вейнингера, кого там еще. На самом деле, как выяснено уже давно, женщина не является низшей расой, а, как я вам твержу уже битый час, совсем наоборот».

Где-то выше сверкнула вспышка фотоаппарата (скрытого, наверное, в мобильный телефон), и он тут же представил, что в интернете сейчас же появится снимок с надписью «Профессор Вертоградский с голубями мира и любви», – видел он на одном голубином крыле написанное «Amor fati», что означает, конечно, «роковая любовь». Ему показалось даже, что именно этого голубя бросила Ira, но приглядевшись, он увидел, что она совершенно неподвижно сидит и без улыбки неподвижным же взором вглядывается в него. На самом деле он был буквально уже облеплен бумажными голубями. Он даже поднял рукав пиджака, с тремя голубями на нем,

показывая, что как бы кормит этих голубей, спровоцировав неожиданный смех. Но он сбросил трех голубей с рукава и запустил их обратно вверх в аудиторию, чем вызвал окончательный уважительный, хотя и тихий свист. На этом закончил он свою первую лекцию.

## 4

Первый раз метаморфоза с обратным переодеванием – опять в юношу-студента – заняла гораздо больше времени, чем он ожидал, так что на семинар после его лекции он существенно опоздал. Вбежал он, запыхавшись, в аудиторию, но там стояла полутьма – преподавательница показывала слайды, так что никто особого внимания не обратил.

Долго не мог он отдышаться, не сразу поняв, куда и зачем попал, потом все же догадавшись, что шло занятие по искусствоведению. Собственно его – вернее, Вертоградского – лекционный курс официально назывался (так предложил Осли) «Введение в эстетику», так что он недалеко ушел сейчас от предмета, хотя понятно, что размеренность и разумность семинара контрастировала с импровизацией его лекции.

Думал он, что лучше бы обозначить свой курс как «Основы философии», но не чувствовал он себя сейчас философом, да и не дорос он еще до этого звания, и в своем стремлении вернуть молодость через живую и юную воду знания рядом с молодыми лицами он чувствовал, что погружается в забытые свои времена, откуда, как оказалось, он не ушел до конца. И сейчас, словно бы омывая лицо световыми картинками в затененной аудитории, не понимая толком после лекции, о чем идет речь, все же чувствовал, как входит ему в глаза незнакомое знание. Он совершенно не мог сосредоточиться и несколько минут совершенно не включался в суть разговора. Вдруг он что-то стал различать – и только потому, наверное, что неожиданно обнаружил в том, что говорилось и показывалось, продолжение неявное своей лекции. В этот момент показывали световые репродукции работ художника Валентина Серова. Вот мелькнул занавес к «Шехерезаде» и затем подряд – Навзикая, Европа, Ида Рубинштейн. Не сомневался он потом уже, что увидел и сумел различить только то, что способен был воспринимать после своего неудачного введения в «Эстетику женского», как он сам назвал свою первую лекцию, но, конечно, никто из слушательниц так это не воспринял. Только преподавательница процитировала слова Репина о работе своего ученика, – о том, что на картине, изображающей танцовщицу, представлен гальванизированный труп, только успела сказать, что плоскостность и условность модерна не соотносится уже даже с Матиссом, у которого тогда присутствовала все же рельефность, как раздался голос, – его голос, который он услышал словно бы со стороны:

– Здесь Серов совместил голубой и розовый периоды Пикассо, верхняя часть картины серо-розовая, нижняя – голубая, с морской синевой, а женская фигура контурно, но и нарядно обнажена, и она на самой границе двух сред.

Все девические лица первых рядов изумленно повернулись в его сторону – валаамова ослица заговорила. Прикусил он язык, но поздно – единственно, чему он порадовался сразу, что, охрипший после лекции, он выкрикнул свою – неожиданную да и непонятно зачем брошенную реплику – неким юношеским фальцетом, в котором дрожало волнение, так что никто, наверное, не заподозрил в нем присутствие профессорского баритона, хотя та немота, которую он себе прописал как студенту с первого дня, была нарушена. Преподавательница, помолчав немного, взвесив его слова, но не удостоив особым вниманием и ответом, продолжала свою невероятно отчетливую и, по-видимому, тщательно отрепетированную и повторенную речь. Все же он понял, что только одна голова не повернулась в его сторону – это была Ira, ей достаточно было слуха, а зрение могло бы, наверное, сбить ее в том, что она услышала в его голосе. Он подумал, что студент должен слушать, профессор говорить, но вот он нарушил зарок.

Его отсутствие в качестве студента на первой лекции профессора Вертоградского не прошло незамеченным. В перерыве после семинара староста их группы Ira (мысленно иначе он ее уже не называл) подошла к нему и спросила (причем его поразило, что обратилась запросто):

– Почему ты не был на лекции?

– На какой? Я считал, что мы учимся в самом свободном вузе.

Ничего она вначале не ответила, лишь внимательно, как на лекции, посмотрела на него, – хотя ему казалось, что он не повторяет некоторых мимических ужимок профессора, но не был в этом уверен.

– Деканат просил через меня как старосту все же передать... почти умолял... чтобы все посещали лекции, надо поддержать преподавателей... ведь все это незнакомое дело... особенно если курсы совсем новые. Отсутствие какой-нибудь девицы не так заметно, как юноши, – последнее слово она как-то особенно подчеркнула.

– Ну, вот у одной из девиц я и попрошу записи. Например, у Скукогоревой.

– Я запретила моим девицам данной мне властью, – тут она все же улыбнулась, – что-нибудь кому-нибудь передавать.

– Возьму в крайнем случае конспект у своего товарища по группе.

– Он проспал всю лекцию, – уже без улыбки сказала Iга.

«Я это заметил», – чуть было не произнес он, но вовремя остановился. Iга уходила в даль по коридору, а он не мог понять, кто смотрит ей вослед: неопытный студент-первокурсник или профессор, который читал свою лекцию монотонно, как пономарь, так ему вспоминалось теперь, когда он чувствовал странный и в чем-то чудесный взор Iгу. Или смотрит он сам, не сознавая, что ощущает, отдав свои чувства и частично даже мысли своим не очень понятным пока другим своим личностям.

Понял он, что нелегко будет войти ему в свои роли, которые он выбрал сам, но, как он полагал, его туда втолкнула и чужая режиссура, которой явилась судьба. Роли учителя и ученика, при том что обе он должен был изучать и исполнять прилежно, не забывая и о своей отчасти режиссерской участи, потому что все надо было направлять, координировать, а иногда прощать себе небольшие и даже грубые промахи. Пока он не мог понять своего состояния, но именно непонимание влекло его и все глубже затягивало.

## 5

Новый день пришел, и за ним еще один, и он чувствовал, что втягивается в странную студенческую среду, словно и не желая того. Великовозрастный, он чувствовал себя совершенно зеленым рядом с молодыми студентами, изошренными в литературных и других гуманитарных предметах. К тому же он остерегался повторять свой опыт выступления после первой лекции, когда его могли узнать. А он хотел проделать чистый опыт, пройти путь студента так же, как все остальные, не давая себе никаких поблажек и не разрушая опыт разоблачением. Поэтому он позволял себе только очень дозированные реплики. На семинарском занятии по литературе он выступил кратко – буквально несколькими словами. Опять как-то так получилось, что женская тема всплыла со всей ее неизбежностью – вернее, он понимал, что усваивает из окружающего только то, что соотносится с его лекционными планами и записками, с тем, что он хотел сказать и так толком не сказал на первой лекции. Пребывая в некоторой прострации на семинаре, уподобившись, наверное, своему сотоварищу, он вдруг уловил, что разбирают три драмы аристофановы, посвященные тому как раз, о чем он размышлял. Расслышал он лишь, что произнесли их названия: «Лисистрата», «Женщины на празднестве» и «Законодательницы, или Екклесиасусы» и почему-то спросил:

– А почему не «Осы», «Лягушки» и «Птицы»?

Вопрос его, явно невпопад, вызвал такой же вымученный, словно бы подневольный, смех, – ясно было, что он вовсе не собирался обидеть женщин, которые и так довольно были обсмеяны в комедиях, а задал странный вопрос, потому что словно бы только проснулся. Однако он наказал себе как можно больше молчать.

Робко он пытался осваивать начала некоторых языков. Филологические разборы давались ему легче, но он не понимал еще, как надо перестроить все свое сознание на иной лад. Погружался он в ту науку, о которой и думать забыл, но которой вожделем непрерывно – ту латынь, древнегреческий и церковнославянский. Также он записался дополнительно на изучение иврита, китайского и санскрита, но понял, что вряд ли осилит все это, поэтому постепенно оставил себе в качестве дополнительного предмета, да и то эпизодического, лишь китайский. Может быть, потому лишь, что надо было вначале записывать части иероглифов на бумаге в клеточку, и эти повторяющиеся крюки и откидные напомнили прописи в тетрадах для чистописания первоклассника. Радостно бросился он заучивать снова то, что давно повыветрилось за его прошедшее время. Твердил он: «*Vigilandum est semper*» – «Надо быть бдительным всегда», а шептал «... вигилий городских», приплетая сюда зачем-то еще и имя Вергилия и напрягая память и всю ассоциативную сеть – мерещилась ему на веленовой бумаге какая-то искусственная фамилия, произошедшая от этого слова. Дальше – больше, – вторгался он в позабытый «Ерундий» (как он произносил про себя), шепча «*Oscul non iterum repetenda*» – «Поцелуи, которые еще раз не повторяются».

Новый для него язык, хотя многое из него вроде бы он знал, как будто молодил его изнутри. Думал он, что проникнув в тайну грамматики, сможет быстрее приблизиться к пониманию языка, даже без слов: поразило его, хотя он смутно об этом слышал, что в первоначальной латыни было два рода – активный и пассивный, и в активном были слиты будущие женский и мужской, а инертный был неопределенно среднего рода. Выдуманная грамматика ему чудилась, где все части речи сводились бы к действию и движению, но иногда представлялось – так на него воздействовало изучение идеальной, кристаллической латыни, – что частей речи, наоборот, недостаточно, что невозможно все свести к предмету – его качеству и глагольности, а надо что-то еще обозначить, хотя он не знал что. Странно смутило его, и даже легкую дрожь предчувствия почувствовал он, когда понял, что нет в латинском местоимений третьего лица.

Причем ему казалось, что обо всем этом он когда-то знал и забыл прочно, а сейчас постепенно восстанавливает бесконечными повторами в памяти.

Нелегко было ему, «за-сорокалетнему», сравниться в гибкости и свежести ума с 17-18-летними, даже если он изображал себя 28-летним. Все же надеялся он на свой опыт бессонных вечеров и даже ночей в непрерывной интеллектуальной работе, но опыт и знания здесь помочь не могли. Трудно давались ему новые языки, хотя он и рвался к их постижению, единственно, что он мог себе позволить и что должно было его продвинуть внутрь молодого сообщества – бесконечно твердить новые слова и фразы. Повторял он, закрыв глаза, с нарастающей скоростью, чтобы догнать, наверстать молодые юные девичьи и юношеские лопатки и нежные шеи, которые, казалось, двигались и летели где-то в осеннем воздухе далеко впереди него, словно это была какая-то велосипедная гонка, как представлялось ему, – по солнечным улицам Москвы все в том же районе его нынешнего университета – совершали они по квадрату квартала бесконечные круги, обходя огромную площадь, заполненную деревьями, и голова кружилась, а он все повторял с нарастающим наслаждением и частотой какой-нибудь учебный отрывок о волке и козе: «*Sentit capra fraudem lupi et respondet: «Ipse ambula ibi, si placet, ego non habeo in animo voluptatem praeronere saluti»»*. Не помогало запоминанию ничего, – даже мнемонические попытки представить обычные латинские слова в виде русских эвфемизмов, и лишь повторение позволяло продвинуться по миллиметру вперед, и он переводил, понимая, что не точен, но все же играючи, повторял: «Чуяла коза, что обманывает волк, и ответствовала: «Сам там гуляй, коли хочца, я не поступлюсь благополучием ради жизненного удовольствия»».

И тут же подступали нелепые ассоциации, но не столько поддерживали, сколько уводили все дальше от сути изучаемых слов. Про волка нечто отрывочное вспоминалось, но не помогало, а создавало какой-то лихорадочный фон, поскольку, понятно, ассоциациями и метафорами нельзя было заменить подлинные знания. «*Lupus est*», повторял он, вернее сама фраза повторяла себя, закончив ее, он тут же начинал ее заново, и такое возвращение вводило его в полусон, и невольно вспоминая анекдот-страшилку про «съест КПСС», он заново впадал, словно река, в свое детство, хотя это слово произнеслось в нем вначале почему-то как «детство». «*Omne initium difficile est*» – всплывало рядом предлагаемое изречение. «Всякое начало трудное есть» – упорно переводилось тут же. «*Lupus in fibula*» – не мог он понять простого утверждения, стараясь тупо произнести «Волк в басне», хотя все же потом после самопроизвольных повторов само всплывало «Об волке речь, а он навстречу». И коза из той же басни тут же появлялась навстречу и повела его глубже, глубоко во времени, и он вспомнил, вспоминал, – минуя литературный остров Капри – в островок памяти, когда среди лета они с отцом и сестрой вышли из электрички в Звенигороде, и тут к ним неожиданно подошли два мальчика из соседнего школьного класса (с которыми он и в Москве-то разговаривал пару раз) и спросили их, где здесь находится казино. В советское время о казино знали только понаслышке, и недоумению не было предела, пока, наконец, путем долгих переспросов и подключения местных жителей не выяснилось, что речь шла о недалекой деревне Козино. Вдруг через звенигородскую реку и зелень свежепокрашенного купола полуразрушенной церкви – купола, окруженного по ободку свежей порослью берез – всплываемых сейчас через акварели отца – и жаркую душную зелень у реки – и вдруг он попал в какой-то эпизод своего детства, из которого, как он понял, он не смог до сих пор выбраться, – в саду, летнем, рядом с заржавленной ванной, откуда лейкой черпали теплую воду для полива, ванной, наполняемой водой, и он понял, что только сейчас взглянул снаружи в окошко того отрывка детства, но понял, что остался там, там он еще есть.

Вспомнил он и свой первый класс, и вот он сейчас также записывает что-то усердно в тетрадку, сидя как всегда на задней парте, – то, что говорит преподавательница латыни. Речь шла о неличных неспрягаемых глагольных формах, – и уже невольно и подневольно начинал он искать профиль Iгу, которая, конечно же, главенствовала и сидела в первом ряду, но профиль ее был заслонен многими лицами других прекрасных девиц, – он расслышал лишь, что форма

igi не имеет конкретного значения, а служит лишь для выражения идеи будущего. Вспомнил он тут же почему-то песню санкюлотов «Ça ira», но там ударение было на последнем слоге, а в имени Ira, что значило «гнев», – на первом, и все пытался потом он уловить ее ускользающий высокомерный профиль, повернутый, так что не было видно глаз. Но тут совершенно случайно у него в памяти появились две первые строки той песни, – он французский знал плохо, даже хуже латыни, но здесь они возникли отчетливо: «Ah! ça ira, ça ira, ça ira, le peuple en ce jour sans cesse réréte», что тут же он перевел нелепо: «Ах, Ira, Ira, Ira, народ этим днем повторяет без передышки».

## 6

В аудитории, когда он бывал студентом, теперь он держался уверенней, и чаще позволял себе выставляться резонером с задней парты, со студенческой скамьи, с Камчатки. Но профессором, подходя к белой аудитории, робел опять, рука явственно колебалась в воздухе, когда поднимал он ее, поднося к ручке двери, и сердце иногда чувствовалось. Так же легонько екала жидкая еда в маленьком термосе в его портфеле – первое время он не выдерживал напряжения и делал небольшой перерыв между половинками лекции, выходя в коридор и быстро выпивая у окна горячую кашу. За густыми, не своими бровями, сквозь маску бороды он видел снова девическую аудиторию, заикаясь, стараясь сгустить голос до баритона и по-профессорски почему-то картавя – чтобы инстинктивно удалиться от студенческого облика. И начинал свой витиеватый рассказ.

Все, что он узнавал как студент, старался он тут же пускать в дело, впервые столкнувшись лицом к лицу с китайским языком, по-неофитски восторженно говорил о преимуществах иероглифики перед европейским алфавитом, но с ужасом чувствуя, что внушает и нечто противоположное, и пытается совмещать уже два эти вида письма. Пытаясь, например, нелепо соотносить несопоставимое: слово «ПОЛЕ» он пытался увидеть в китайском иероглифе, означающем поле, который представлял собой окошко с перекрестием – он утверждал, что русское письмо представило последовательность букв, а китайское совместило эти же знаки, уложив друг на друга.

«Ты хоть и доктор наук, и должен следить за научной строгостью, но в своем курсе будь смелым, – внушал ему тогда Осли, – как замдекана обязую тебя раскрыть перед первым набором женских курсов все, на что способна невзнузданная мысль». Вспоминая эти слова и понимая, что отпускает узду и закусывает удила, он пускался во все тяжкие своей раскованной мыслью. Подслушанное и только помышленное – все шло в дело.

Хотя план лекций существовал в его воображении, каждая из них была вольной импровизацией на приблизительно заданную тему. Сразу он заявил своим слушательницам, что будет утешать их философией, вспомнив и тут же приведя по-латыни (которую только начал узнавать) название труда Аниция Бозция «*Consolatione Philosophiae*», то есть «Утешение философией». Тут же и не к месту, а может быть, для него и к месту, еще раз он сказал о «*Consonantia et claritas*» – «Пропорции и сиянии».

Помнил он, конечно, и о своем научном задании про Лейбница и ноль и упрямо гнул в ту сторону, хотя, казалось бы, ноль тут при чем? Но вспоминая все на свете, вдруг он оживлялся и, соединяя банальность с непонятностью, рисовал – вначале в воздухе мгновенным движением пальцев, – ему хотелось зажечь спичку и прочертить ею знаки, – но спички не было, а потом на доску – ноль и единицу. И он, даже нарисовав ноль в воздухе, сделал вращательное движение рукой, показав, как легко, перекрутив ноль, превратить его в восьмерку и, опрокинув на спинку, превратить в бесконечность. «Лейбниц был создателем двоичной арифметики, – внушал он слушательницам, – впрочем, все это было известно и до него, – то, что все вычисления можно опереть лишь на ноль и единицу, но он первый придал этому значение, связав немислимым образом с какой-то китайщиной, с их философией, с «Книгой перемен» и тому подобное». Тут он совсем разошелся и стал размахивать руками, но охладил себя, потому что чуть не сбил парик и не разоблачил себя.

«Затем, – продолжал он, – эта двоичность проникла во все механические – нет, тут я неточен – во все электронные цифровые устройства, все компьютеры, кроме некоторых, которые основаны на триаде, на троичной системе исчисления, можно сказать, заражены этой двоичной болезнью, этим вирусом». Сказав о «цифре», он вдруг перешел к рассуждению о происхождении, об этимологии слова, и о том, что на самом деле «цифра», а тем самым и единица,

и «нуль» недалеко в своем происхождении. Хотя в нашем воображении, да и в воображении электронной машины они разошлись на непредставимое расстояние. Тут он счел уместным, хотя вышло совсем неуместным, и даже многие спавшие во время лекции девушки пробудились и отчетливо улыбнулись: он сказал, что известно древнее изречение «я знаю, что ничего не знаю», а он бы хотел, оправдывая свое многоречие, произнести «я не знаю, что все знаю», – но прозвучало это настолько ни к селу ни к городу, что все замерли, и даже в этой белой и монотонно гудевшей от тайных разговоров аудитории на мгновение воцарилась тишина. Он воспользовался паузой, чтобы попытаться привлечь к своим речам внимание, хотя понимал, что юное доверие заслужить гораздо трудней, чем, допустим, общества ученых дам. Он сказал, что слово «цифра», по-видимому, берет свое начало в индийском «сунья», что значит «пустота». И кто-то из философов или поэтов связал «Сайфер» (или вернее, арабское «сафира», означавшее «быть пустым») и «Зефир», что значит «западный ветер», он тут же оговорился, что так выразился тот мыслитель, но он, конечно же, ошибся, хотя в ошибке великих может быть скрыта великая мудрость, – на самом деле «Зефир», конечно же, это «южный ветер», а западный ветер – это «Аквилон», оду которому создал другой поэт – Перси Биши Шелли.

Но видя, что вновь утратил внимание половины аудитории, он сказал, что напрасно они скучают при слове «математика» или «арифметика», ведь Арифметика всегда в древности изображалась в виде женской фигуры, возвышающейся, допустим, над Пифагором и Бэцием, склонившимися над абакон и грудой арабских цифр соответственно. Не говоря уж про Гипатию Александрийскую – он велел им заглянуть в поисковую систему – что, к его изумлению, некоторые тут же и сделали – и найти ее в белом одеянии среди бородатых мужчин в «Афинской школе» Рафаэля. С мест раздались голоса, что никакой Гипатии там нет, но когда он сказал им «слева или справа от Пифагора, где-то там рядом», и они действительно нашли, то это хотя бы убедило некоторых из них, что он не несет полную отсебятину. «Взгляните на миниатюру в манускрипте Геррады Ландсбергской «*Hortus deliciarum*», то есть «Сад наслаждений» – можно было бы назвать его «Сад неземных наслаждений» – по аналогии, но и в противоположность с Босхом, – здесь в кольце вокруг малого круга, где царит София-премудрость над двумя учеными мужами, – в этом кольце по углам семилучевой звезды расположены семь женских образов по количеству семи свободных искусств». «Можете мне назвать хотя бы три?» – обратился он к вновь задремавшей аудитории, пытаясь вернуть их к первой своей, наверняка забытой ими лекции. «Риторика», – тут же выкрикнул девичий голос издали, и ему показалось, что он его узнал. «Блестяще, – громко и как ему показалось нагло, заявил он, – вы будете первым ритором на женских курсах».

Он сказал о том, что не случайно и в «тривиальном» курсе, то есть в «Тривиуме», и в следующем «Квадриуме» все эти науки – грамматика, логика (она же, по-видимому, философия) и риторика, и затем, как полагалось, более сложные арифметика, геометрия, музыка и астрономия связаны с женскими полубогинями, и – недаром – в русском языке – все науки эти женского рода – все эти женственные образы вращаются вокруг праматери всех наук и, возможно, искусств – Софии.

Он сказал о том, что от софийских соборов – от Софии константинопольской, киевской, новгородской, да и московского храма софийского на Кузнецком, – исходят как бы лучи премудрости, которые именно в женском образе витают над грубой, но действенной мужской оболочкой, которая воплощает эти незримые тонкие идеи.

Тут к нему откуда-то из глубины аудитории прилетел голубь, правда, в этот раз лишь один, и лег прямо на кафедру, он стал разворачивать его бумажное тельце, но увидев, что это записка, написанная по-латыни, засомневался в своей способности хоть что-то в ней понять, и поэтому призвал аудиторию сосредоточиться на последние десять минут. Время пробежало незаметно, и он понял, что толком ничего – а это была уже вторая лекция – не успел сказать. Вернулся к Лейбницу, но забыл, о чем говорил. Поэтому заскользил куда-то вглубь веков,

вспомнив спор абакистов (сиречь абацистов) и арифметистов о том, какая система исчисления лучше и пригоднее в подсчетах. Те, которые считали при помощи абака, то есть, по сути, при помощи бухгалтерских счетов с их обточенными, обглоданными косточками, утверждали, что лучше, конечно, римская система чисел, и были по-своему правы. Но правее исторически оказались арифметисты, использовавшие арабские цифры, что было, несомненно, удобнее при вычислениях на бумаге. Бухгалтерия – а тогда ей занимались исключительно мужчины (зачем он привел эти недостоверные сведения, он сам не знал, ввернул, вероятно, чтобы польстить – сомнительная лесть – большей части аудитории), – так вот, бухгалтеры проиграли, а победили канцелярские – назовем их так – то есть бумажные черви – вычислители на бумаге. В результате этот червь вычислений проник во все вычислительные машины. Сама проблема – как получилось, что аналитика, вычисления, пусть и на бумаге, но в уме, и выше, в мировом уме, древние греки его иногда называли Нус, – как получилось, что отвлеченности, умозрительности и идеальности, связанные с числом – или даже нулем, кстати, арифметисты пользовались активно нулем, и именно отчасти поэтому победили, – как получилось, что платоновско-плотиновская идея числа вдруг оказалась доверенной грубой материальности машины – такая проблема составит часть следующей лекции. Об этом поговорим в следующий раз.

Здесь он закончил и, постаравшись изобразить, что несусветно торопится, – а это было правдой, потому что он убежал от возможных комментариев и вопросов, он представлял, что после его слов к аудитории: «Будут ли вопросы?» вырастет вдруг какой-нибудь юноша и спросит: «И за эту... – дальше следовал эвфемизм (да и то еще в лучшем случае), – вам платят деньги?» – и он не сможет ничего ответить, и бежит позорно, так что он предпочитал исчезнуть, раствориться в ином облике сам.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.